

*Эта книга посвящается Андреине, студентке,
которая изучала в пятидесятых годах XX века
архитектуру — и бросила университет,
обнаружив, что женщины-архитекторы
встречаются куда реже хибонита.
Выйдя замуж, она родила двух дочерей.
Младшая из них — я*

Величие женщины заключается в том,
чтобы не давать повода о себе говорить.

Гортензия Манчини,
герцогиня де Мазарини

КИТ

Эта штукавина была пыльно-серой и загнутой, как алхимическая реторта: пузатая у основания и резко сужающаяся кверху, размером едва ли с пол-ладони. На отцовском столе, поверх пухлой стопки бумаг, исписанных его лихорадочным почерком, она возникла так внезапно, что я приняла ее за пресс-папье или обломок античной скульптуры. По правде сказать, отец, вопреки недовольству матери, уже давно начал собирать всевозможные находки, творения рук человеческих, природы или случая: он откапывал их сам, выменивал у других охотников за сокровищами, а порой и покупал, так что теперь его маленький кабинет больше походил на лавку старьевщика, чем на мастерскую живописца.

В ящичках грушевого дерева он одинаково бережно хранил фрагменты мощей, большие пальцы исчезнувших божеств и почечные камни, извлеченные шурином из ночных горшков пациентов, расставляя их на полках рядом с потрепанными книгами на иврите и латыни, анатомическими таблицами с изображением вскрытых трупов и даже тщательно запечатанными в хрустальные склянки клочками шерсти *ксолоитц-куинтли* и *итцкуинтлипотцотли*, то есть мексиканских собаки и волка — древнейших, окутанных мифами и легендами пород. Эта комната, вечно сумрачная, пропахшая клеем, гарью и старой бумагой, собственный мир моего отца с тех пор, когда он

еще не был моим отцом, неодолимо притягивала меня, как притягивает железо магнит.

Отец требовал, чтобы его не беспокоили, но на задвижку никогда не запирался — возможно потому, что в глубине души рад был видеть, что я интересуюсь его диковинками, в отличие от сестры Альбины, никакого интереса к рисункам и сухоцветам не проявлявшей. На миг оторвавшись от листа, он прикладывал палец к губам в знак молчания. Потом обмакивал перо в чернила и начисто забывал обо мне. А я забиралась на табурет и, болтая ногами, наблюдала, как он пишет, пишет, пишет... неизвестно что. Сама я в ту пору едва умела читать по слогам. И не понимала, зачем художнику так часто пользоваться пером.

Однако эта штуковина не походила ни на фрагмент скульптуры, ни на камень. Она источала резкий запах моря и разложения, словно когда-то была — а частично и оставалась — живой. Февральские морозы вынуждали держать окна закрытыми, но вскоре вонь стала настолько резкой, что вызывала тошноту. В первый же день мать в сердцах велела поскорее убрать эту гадость. Но отец лишь бросил на нее снисходительный взгляд. «Молчи, глупая женщина, — проворчал он, — ты сама не знаешь, о чем толкуешь. Эта “гадость” здесь ценнее всего прочего». «И чего же она стоит?» — оживилась мать, потянувшись к этой штуке. Но отец игриво шлепнул ее по руке. «Бывают вещи настолько редкие, что им и цены нет. Я бы ее и за тысячу скудо не продал», — заявил он. «За тысячу скудо я бы и муженька родного охотно сторговала, — рассмеялась мать, подмигнув мне, — да только муж мой, к несчастью, так много не стоит». И добавила с внезапной нежностью: «Прошу, Джованни, убери ее, она только воздух отравляет. Еще не хватало детям заразу какую подхватить».

Но эту штуковину не убрали. Она так и распространяла по всем уголкам квартиры аромат моря и разложения, пока

с течением времени не высохла, став блеклой и мертвой, словно какой-нибудь минерал.

Только она не была минералом, не была ни гранитом, ни туфом — скорее походила на рог или слоновую кость. Ее ноздреватую поверхность испещряли мелкие поры, а по краю шла полоса белесой щетины, напоминавшей кабанью. Отец велел мне обращаться с ней осторожно, поскольку речь шла о фрагменте тела существа, каких в наших морях не видывали. Существа из иного мира. И звалось оно рыба-кит.

Зимними вечерами, когда дождь или мокрый снег запирали нас в доме, отец устраивал чтения «Неистового Роланда»*, для которых выбирал наиболее увлекательные приключения Анджелики, Астольфо и Руджьера, или разыгрывал сценки из комедий дель арте, треща на венецианском, бергамском и неаполитанском диалектах за Панталоне**, дзанни*** или хвастливого Капитана. Каждую сценку он сперва прогонял перед нами, своей первой публикой. На сами представления детям ходить не разрешалось, даже в частные дома: туда допускали только замужних дам. Но он был рад выступить перед нами, дочерьми. В своей беспощадной наивности мы становились самыми справедливыми его критиками. Если острота не вызывала у нас смеха, отец от нее отказывался, утверждая, что настоящая комедия должна воздействовать даже на слабоумных.

У этих домашних представлений была и другая цель. Отец намеренно взвалил на себя это бремя, словно епитимью,

* «Неистовый Роланд» — рыцарская поэма Лудовико Ариосто (1474–1533). — *Здесь и далее примечания переводчика.*

** Панталоне — персонаж-маска итальянской комедии дель арте.

*** Дзанни — в итальянской комедии дель арте персонажи-маски слуг: Бригеллы, Арлекина, Пульчинеллы и др.

желая развлечь, встряхнуть, излечить меня от врожденного изъяна, который считал своей виной. С некоторых пор, безо всякой видимой причины, я начала внезапно засыпать: сползала со стула или падала лицом в тарелку в полнейшем оцепенении и бессознательности. Мать даже подозревала, что на меня навели порчу.

Да, какое-то время меня это забавляло, но веселость продолжалась не дольше летней грозы. Обнаруженный изъян изменил меня. Страхась всего, и в особенности себя самой, я более не решалась покидать семейные покои: приступ мог повториться, и тогда чужие люди отвезли бы меня в больницу или вовсе бросили одну невесть где. Я предпочитала сидеть дома, приглядывая за младшей сестренкой Антонией: купала ее в лохани, сочиняла песенки и сказки. Мне страстно хотелось поскорее вырасти и самой стать матерью. Я была маленькой женщиной, молчаливой и покорной. И осталась бы такой, если бы не эта штуковина на отцовском столе.

Ведь ни одна из тех историй, что он нам рассказывал, не увлекла меня так, как известие о ките, выбросившемся февральским вечером 1624 года на прибрежные камни неподалеку от Санта-Северы.

Когда часовой на башне заметил в море темный силуэт, сгушались сумерки. Силуэт показался на расстоянии мили в направлении Чивитавеккьи. Что там — плавучий остров из обломков кораблекрушений? Или вражеские лазутчики? Может, берберийские пираты собрались в набег? Часовой немедленно поднял тревогу, на пляж высыпали солдаты. Но это был не остров и не корабль. На рыбу существо тоже не походило. Оно казалось настолько громадным, что поначалу его приняли за какое-то дьявольское наваждение. Когда зажгли факелы, стало понятно: морское чудовище лежит всего в паре десят-

ков локтей от берега. Вода была ледяной, но солдат страшило не это: они боялись, что левиафан еще жив. Только с первыми лучами рассвета один бесстрашный рыбак, закатав до колен штаны, двинулся к теперь уже недвижимой пепельно-серой туше.

Солдаты вызвали офицеров, а те — командующего крепостью Санта-Северы, как и все близлежащие земли, находившейся во владении Ордена госпитальеров Святого Духа. В свете нового дня чудовище обернулось безобидным китом, просто до той поры с незапамятных времен ни один кит не заплывал в наше море.

Знающие люди вспомнили, что четыремя годами ранее мертвого кита видели у берегов Корсики, но в Италии — никогда. Вероятно, косатки загнали его в Средиземное море из океана, и он, спасаясь бегством, заплыл так далеко, что не нашел пути обратно. Кит оказался самкой, и самка эта была одна. Никаких следов самца так и не обнаружили.

Кое-кто из людей ученых поговаривал, что спутника она лишилась по старости. Другие — что ее бросил вожатый: ведь в союзе с китом живет длинная белая рыба, что, присосавшись к его морде, остается с ним навсегда. Она проталкивает киту в рот мелкую рыбешку, которой тот питается, предупреждает об опасности, а шипастым хвостом, словно кормилом, направляет сквозь моря и течения, за что ее и зовут «вожатым». Взамен эта рыба получает пищу и защиту: так, застигнутый штормом, кит прячет ее в своей пасти. Они не могут прожить друг без друга. И если кит теряет вожатого, то уже не может ни плыть вперед, ни повернуть назад: ему остается только умереть.

Туша застряла на усеивающих побережье камнях, куда волнами нередко прибивало обломки кораблей и рыбацкие фелуки. Более девяноста пядей в длину, пятьдесят в ширину,

она была настолько тяжелой, что даже тридцать человек не смогли выволочь эту громадину на песок. В итоге ее решили разрубить на куски там, где она лежала, взбираясь по блестящей спине, как по склону холма. Светло-серая кожа кита оказалась тонкой и нежной, как шелк.

Считанные часы спустя пляж, бывший некогда пустынным, уже не мог вместить собравшуюся толпу зевак. Вереницы экипажей доставляли из Рима зоологов, ученых и дилетантов, священников, поэтов, художников. Одни хотели изучить диковинку, другие — просто поглазеть, третьи — увековечить этот момент для потомков. Все-таки чудо есть чудо.

Однако столь же сильно приехавшие жаждали завладеть хотя бы кусочком этого чуда. Местным крестьянам и рыбакам немало заплатили за отрезанный хвост, плавники, позвонки и плоть. Самые изобретательные уже представляли, как делают из них троны и лавки. При помощи шестов и балок киту раскрыли пасть, настолько широкую, что всадник мог въехать в нее, не спешившись. Пытались разобрать и требущину, но едва обхватили кишку. Мясо оказалось красным, как говядина, а слой жира вдоль спины — настолько тяжелым, что для его перевозки потребовались три телеги. Вытопленным маслом до краев наполнили девять бочек, и оно еще целый год горело в лампах. Зубы, в человеческий рост длинной, уменьшались по мере продвижения вглубь пасти, как трубы органа. Самый маленький был чуть больше алхимической реторты. Именно его отец и выложил на письменный стол.

Зуб ему подарил фра Луиджи Багутти, орденовский архитектор. Поселившись буквально в паре шагов от нас, он стал отцу лучшим другом: они виделись каждый день, обсуждая новые стройки Вечного города. Фра Леоне, глава капитула, снабдил фра Луиджи костями, мясом и жиром, а уж тот принес пока-

зять кое-что отцу, самому любопытному человеку во всем Риме, вечно алчущему новых знаний. И предметом, завожившим меня, оказался самый маленький зуб той самой заблудшей самки кита.

Той ночью она мне снилась. Потерянно бороздя волны, она прельстилась огнями крепости, но стоило только приблизиться, как острые камни на дне вспороли ей брюхо. Струя воды из дыхла взлетала выше дворцов и крепостных стен, но вожатый бросил ее, а никто другой не явился на помощь. Я проснулась в слезах. «Она умерла, Плаутилла, — сказал отец. — Мы ничем не можем помочь». «Я хочу ее видеть! — взмолилась я. — Синьор отец, отвезите меня к ней! Другого случая не будет, никогда!»

«Я и сам хотел ехать, Плаутилла, и тебя бы с собой взял, — уверял он, — да не могу. Теперь уж слишком поздно: гнилостное зловоние разносится до самой Чивитавеккьи. Придется обождать, пока природа возьмет свое».

И, чтобы меня утешить, отец взял лист бумаги, обмакнул перо в сепию и нарисовал кита. Разинув пасть в некоем подобии улыбки, тот счастливо возлежал на мелководе Тирренского моря. Выдуманный, сказочный кит, поскольку настоящего отец увидел, лишь когда Бернардино Ради, управляющий всеми стройками в Чивитавеккье, зарисовал только что выброшенного на берег гиганта и, наделав с этого рисунка гравюр, продал их во все книжные лавки Рима.

«А когда вонь пройдет, вы меня отвезете?» — не унималась я. Отец рассеянно кивнул. Четырьмя днями позже он, с чудовищной быстротой написав «Отчет о ките», в считанные часы пристроил его в печать, и на следующий день брошюра уже продавалась в Борго Веккьо, в лавке книготорговца из Болоньи, что напротив «Треноги». Тираж закончился мгновенно.

венно, экземпляры разлетелись по всему Риму, в остериях* их передавали из рук в руки, и многие хвалили работу за живость описания. Но интерес отца к киту быстро угас. Будущее занимало его мысли куда больше, чем свершившиеся события.

Долгие годы я бредила китом из Санта-Северы. Не знаю, почему это заблудшее, одинокое, почти фантастическое существо так меня взволновало. Касаясь иссохшего зуба на отцовском столе, я не могла сдержать слез: все думала о печальной участи этой морской владычицы, брошенной гнить на прибрежных камнях. А мать только смеялась: «Сердечко мое, лучше побереги слезы, они тебе еще пригодятся».

Впрочем, уже весной отец, договорившись с братьями ордена Святого Духа, разрешил мне поехать с ним. Карета была переполнена, и мне пришлось устроиться у него на коленях. Мы выехали из Рима через ворота Святого Панкратия: прижавшись носом к стеклу, я с удивлением наблюдала десятки зеленщиков, ожидавших въезда в город. Их тележки и повозки ломились от корзин с горохом, салатом и пурпурными головками артишоков, а сами они при нашем появлении смиренно снимали шляпы.

За стеной Рим вдруг закончился. Я привыкла к узким, сумрачным переулкам, где, выглянув в окно, почти могла коснуться стены дома напротив. Теперь же мне явилось нечто невообразимое: бескрайние просторы полей, волнообразная геометрия темных стен, ограждающих невидимые поместья, и — до самого горизонта, сколько хватало глаз, — зеленые прямоугольники, разделенные шпалерами виноградников или обрамленные рошицами и густыми кустарниками. В то время

* Остерии в то время представляли собой гостиницы, помимо ночлега предлагавшие путешественникам домашнюю еду.

эта пересеченная долинами и оврагами равнина, простирающаяся до самого моря, еще не была застроена виллами. Кто мог подумать, что именно здесь, среди этих лоз, рощ и артишоков, и свершится моя судьба?

Карету трясло и качало, она подсказывала на ухабах. С непривычки я почувствовала недомогание, но не успела предупредить отца, как меня стошнило прямо на его сорочку. «Святая Пупа, а ведь другой-то у меня нет! — смиренно воскликнул он и добавил, обращаясь к монахам: — Покорнейше прошу нас простить». Те, скривившись, зажали носы: само мое присутствие здесь уже казалось им непристойным. Чтобы дать отцу возможность застирать сорочку, а мне — прополоскать рот, кучеру пришлось остановиться у родника. Дальше отец ехал с обнаженным торсом. В свои сорок пять он был тщедушен, словно зяблик.

За остерией в Малагротте башни и фермы попадались все реже, и вскоре карета, вздымая клубы пыли, уже катила по совершенно пустой дороге. Даже на мостах, переброшенных через дренажные каналы, нам никто не встретился. Одни только буйволы населяли эти гиблые, болотистые места. Моим глазам не на чем было отдохнуть, и я, уткнувшись в кудряшки на отцовской груди, понемногу задремала, убаюканная размеренным биением его сердца.

Меня разбудили голоса. Карета не двигалась. Едва я соскочила с подножки, как резкий порыв ветра сорвал с моей головы белый платок. Я бросилась его догонять — и замерла, задохнувшись от восторга. Передо мной в первый — и единственный — раз явилось море: лазурное полотно, в оборках расшитых волнами серебристых кружев. По мере удаления эта лазурь понемногу темнела, плавно переходя в стальную линию горизонта. Куда ни кинь взгляд — повсюду простиралась вод-

ная гладь, отделенная от небесной синевы безупречно ровной, словно проведенной по линейке чертой. Отец, положив руку мне на плечо, сказал, что на той стороне, только далеко-далеко, лежит Франция. Так я впервые услышала упоминание об этой стране.

Солдаты из крепости, которым настоятель сообщил о приезде, проводили нас к нужному месту. Однако китовой туши там уже не было: остались лишь продолговатые кости черепа, шипастый обрубок хребта и дугообразные — грудной клетки. Скелет напоминал опрокинутый вверх дном корабль. Однако кости, настолько выбеленные, что казались высеченными из мрамора, делали его похожим скорее на разбросанные вдоль Аппиевой дороги античные руины, давно превратившиеся в груды обломанных капителей, покосившихся пилястр и обрывающихся в пустоту карнизов, о первоначальном облике которых теперь можно было только догадываться.

И все-таки я не была разочарована. От бранных останков веяло той же грандиозностью, тем же величием, что и от руин Древнего Рима. Я понимала, что кит — настоящее чудо. «Глаза огромные, как колеса у кареты, — восторженно шептал отец, — а зрачки — как эбеновые шары». Он не сыпал абстрактными мерами длины, он их показывал. А чтобы объяснить то, чего я не знала, сравнивал с предметами повседневного обихода: зубы частые, будто гребень, на каких треплют пеньку, нижняя губа выступает полукругом, словно травертиновый валик вдоль основания крепостных стен... Отец, подобно волшебникам, обладал даром воплощать слова в реальность. Он был писателем, хотя в ту пору я этого еще не знала. И вскоре перестала слушать, а просто глазела на зубчатый хребет, о который, пенясь, разбивались волны, да временами, прищурившись, вглядывалась в горизонт в надежде увидеть фонтан еще одного кита. Но на водной глади виднелись только рыбацкие

тартаны* из Санта-Маринеллы и, чуть дальше, белые паруса корабля, направлявшегося в Порто-Эрколе.

«В нашем море киты не водятся, — задумчиво сказал отец. — Но это не значит, что их не существует. Вот почему мне так дорог этот зуб, вот почему он навсегда останется со мной. Это как дать самому себе обещание, понимаешь? Где-то есть вещи, о которых мы даже не подозреваем. И нам непременно нужно их отыскать, а если не получится — создать самим».

«Да, синьор отец», — ответила я, хотя не очень-то поняла, что он имеет в виду. Отец впервые заговорил со мной как со взрослой, а ведь мне тогда не было и восьми лет. Он редко уделял мне внимание. Я была лишней. Просто еще одна дочь — болезненная, не блещущая красотой, отличающаяся от других лишь беспробудным сном. Слишком робкая, слишком покорная, чтобы проявить тайное желание стать кем-то другим — героиней, принцессой, великой воительницей, способной одной неодолимой силой воли возвыситься в этом мире, обрета славу и почет. Надежды на продолжение творческой династии отец возлагал на моего младшего брата Базилио, а всю свою любовь уже без остатка отдал матери и сестре Альбине. Мне ее не хватило.

Но историю о ките он рассказал мне одной, и только я одна поняла, что значил для него — а может, и для меня — этот зуб. То, что мне виделось в этой старой, одинокой, но отважной самке, одновременно привлекало и пугало.

Отец снял башмаки и предложил мне сделать то же самое, предупредив, впрочем, чтобы я была осторожна, поскольку песок усеивали ракушки с обломанными створками, острыми, словно ножи. Потом он взял меня за руку, и мы двинулись по мелководью. Останки кита лежали не более чем в дюжине

* Тартана — небольшое средиземноморское судно с косым парусом.

шагов от берега. Но добраться до них мы так и не смогли. Всего через несколько шагов я расплакалась от боли, пронзившей ногу. Отец тоже стenal и бранился. Камни, скользкие от водорослей, кишели морскими ежами. Шипы впивались в наши пятки, пальцы, стопы. На берег нас выносили солдаты: не помогли даже высокомерные заявления, что мы оба желаем идти дальше.

Обратно в карету пришлось забираться окоченевшими, в сыром, не просушем на майском солнце платье и босиком, поскольку ступни были замотаны бинтами, которые смочили маслом. Служители в больнице Святого Духа не один час извлекали из нашей кожи шипы — крошечные, черные, словно перец, крупицы, — а моя мать целую неделю попрекала мужа. Что за безумие обуяло его эксцентричный разум? Как ему вообще могло взбрести в голову тащить девочку в Санта-Северу? А главное, что, кроме разбитых ног и жара, я от всего этого получила? Но мы с отцом знали, что возможность увидеть останки кита того стоила. За двадцать один год, что мы прожили бок о бок, между нами не случилось разговора столь глубокого, как тот, на пляже.

Теперь зуб кита здесь, на моем столе. Все прочее мне пришлось оставить, но от него я бы не отступилась никогда. Ни запаха, ни цвета он больше не имеет. Остатки щетины выпали, в поры просочилась пыль, окрасив их пепельной патиной. Я гляжу на него каждый Божий день. Отец покинул меня почти шестьдесят лет назад. Книгу с его портретом я давно подарила и уже не помню ни голоса, ни черт. Но мне бы очень хотелось рассказать ему, где бы он ни был, что я тоже сдержала обещание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru